

Об одиночестве

Два письма на одну тему

Геннадий Прашкевич

Дорогой Алексей!

Многие годы я занимаюсь Севером. Если конкретнее — северными народами. Их бытом. Их верованиями. Полярными сказками.

Юкагиры вообще на волшебные сказки были мастера ничуть не меньшие, чем древние греки, но в слишком пустынном мире они обитали. Многие их сказки начинаются с описания жизни человека, который почти не знает других людей, живет в снежной пустыне. Каждое (весьма редкое) деревцо в тундре имело для них свое название, каждый род, каждый человек — означены отдельным словом. Зимой — зеленоватые отсветы северного сияния, летом — мутные облака задавного гнуса.

Отсюда и сказки.

Старичок был.

Старушка была.

Молодой сын был.

Точно лунный свет, так красив.

Надел лыжи, подбитые мехом выдры.

«Отец, мать, ухажу. Жену привести пора».

В сендухе — снег белый, северное сияние. Как китовые пластины, раскрашены полосы в небе. Пусто и холодно. «Лыжи, лыжи, куда несете меня подобно верховому оленю?» Яркие звезды проглядывают сквозь полярный небесный огонь. «Лыжи, лыжи, куда так быстро меня несете?» Вдруг среди тундры ураса стоит. Одна, как гора, стоит. В урасе — полярный князец. Вошел, к дочке посватался. Лег рядом. Так близко лежали, что один и тот же сон видели.

Это об одиночестве.

Звезды, холод, безмолвие, след лыжный.

Буров Алексей Владимирович — кандидат физико-математических наук, философ, научный сотрудник Национальной ускорительной лаборатории им. Ферми, США.

Прашкевич Геннадий Мартович — прозаик.

Публикации в соавторстве в «Дружбе народов»: эссе «О красоте» (2016, № 1); эссе «О молчании» (2016, № 6); «О понимании» (2017, № 4); «О пошлости» (2017, № 7); «О правде и о вечных вопросах» (2017, № 12); «О цели и направлении» (2018, № 5); «О знании, непостижимом разумом» (2018, № 10); «О хороших и не очень» (2019, № 2).

В коробе у меня кабалы на промышленных людей, да закладная на ясыря — дикую женку именем Бычия. Еще шубенко пупчатое, покрыто зипуном вишневым. А что останетца, — (так наказывал своим сподвижникам умирающий от невзгод пути землепроходец Михайла Захаров, XVII век), — то разделить в четыре монастыря: Троице живоначалной и Сергию чудотворицу, архимариту и келарю еже о Христе з братиею. А они бы положили к Солекамской на Пыскорь в монастырь 20 рублей, и в Соловецкий монастырь 20 рублей, и Кирилу и Афанасию в монастырь 15 рублей, и Николе в Ныром в Чердынь 5 рублей, и еще Егорию на городище 5 рублей. А роду и племени в мой живот никому не вступатца, потому что роду нет ближнего, одна мать жива осталась. И буде мать моя все еще жива, взять ее в монастырь к Троице Сергию. И где изустная память выляжет, тут по ней суд и правез.

Траурные лиственницы по горизонту.

Пробежит олешек, оставит след, рассеется, как дым, тучка.

А мы живем в больших городах. Нас много. Нас везде очень много. Мы для тех, давно ушедших, — давно будущее. Гремит музыка, летят автомобили, нескончаемый шум, шум. Ты в толпе, среди многих и многих, отсюда иллюзия — ты со всеми. Но с кем тебе поделиться главным? Где такой (твой) человек? Реклама бьет в глаза. Кто услышит, если даже с самым близким ты никогда не бываешь откровенным настоящим?

Вот наш мир — в прессе.

Комната в доме барачного типа (9 кв. м.), первый этаж, без электричества, без удобств, деревня Нижние Сапоги (лев. берег реки Оби) — меняю на благоустроенную трехкомнатную в любом южном штате Америки...

Одинокая женщина с древнерусским характером, потомок известного рода сибирских пчеловодов, страстно мечтает о встрече с одиноким мужчиной, гордящимся такими же чертами характера...

Мужчина шестидесяти лет, образование среднее, уверенный убежденный коммунист. Ищу свою половину, которая все выдержит и выдюжит, не продаст и не предаст, останется верной и сильной, а в последний час печально закроет своему другу остекленевшие глаза, с благодарностью целуя его в холодный лоб, и, рыдая, проводит туда, откуда не возвращаются даже самые уверенные, самые убежденные коммунисты...

Вся страна говорит о приватизации. Я тоже за, но с жестким контролем, а то вот отнес сапожнику-частнику старые туфли в починку, а он мало того, что тысячу за подошвы с меня содрал, так еще запил на радостях. Теперь пришел в себя, говорит: ни туфель моих у него больше нет, ни денег. Ну, не скотина? Я на всякий случай подпалил ему будку, чтобы наперед знал, что в приватизации главное — честь и достоинство, а остальное мы в гробу видели при всех вождях и режимах...

Самый ужасный пример массового уничтожения живых существ — это всемирный потоп. А известно ли сегодня точное число жертв? Существуют ли специальные мемориалы, посвященные указанному событию? Осуждался ли прогрессивной мировой общественностью зачинщик потопа?..

Разве не сквозит сквозь эти слова всемирное, разделяющее нас одиночество?

Нашедших шестого июля сего года дипломат из крокодиловой кожи в районе автобусной остановки Ягодная, просим указанный дипломат вернуть и вовнутрь не заглядывать. Лучше позвонить по указанному нами телефону, чем потом всю жизнь прятаться в Бишкеке или в какой-нибудь другой Уганде.

Можно всего этого не замечать, но не заметить нельзя.

Такова жизнь. Стоит расслабиться, и вот ты выпал из ритма.

Тебя не замечают. Тебе некогда размышлять. Ты постоянно в толпе. Нас много, очень много, но ты — один. Христианин или язычник, мусульманин или буддист, это неважно. Перебирай древние и новые учения — всё упирается в одиночество. В постоянное томящее жестокое одиночество. В семье, в театре, в ресторане, на митинге, на свидании. Это тотальное одиночество, невозможность высказать себя — *в тебе самом*. Как выйти из вечной тюрьмы тела? Ты навсегда (до своего конца) заключен в своем теле. Даже люди, убежденные в том, что *Там* их ждет только Рай, — боятся уходить из своего тела. На мой вопрос, почему он так часто пишет о смерти, писатель, мой друг, Роберт Шекли ответил однажды так: разве смерть — не самый интересный момент нашей жизни? Возможно, он имел в виду как раз вот это — конец, желанный конец одиночества. Не случайно последние годы своей жизни он провел в долгих поездках, в том числе по России. Одиночество мешало ему оставаться на одном месте. Как когда-то Гоголю...

Ну да, понятно, смерть расчищает старое, дает место новому.

Ну да, перед лицом неминуемой смерти всё теряет значение — мнения окружающих, амбиции, страх, радость. Вот всю жизнь мы были одиноки, и уходим в одиночестве. Никакие технологии не позволяют нам понять друг друга. Возможно, Вселенная слишком огромна для обыденного ума. Только однажды я видел нечто, несколько примирявшее с такой мыслью. Это рисунок на смерть Стивена Хокинга, напечатанный в каком-то американском журнале. Моторизованная коляска великого физика стоит пустая. Это поражает. Ведь мы привыкли к образу Хокинга — всегда лежащего в своей коляске со слегка склоненной на сторону головой, с руками на управляющем пульте. И вдруг — его коляска пуста! А Хокинг уходит, уходит *сам, своими ногами*, к огромному сияющему звездами небу.

Но куда он уходит?

Вдруг к еще большему одиночеству?

Ведь он, Хокинг, рассматривал даже собственный мозг как компьютер, который прекращает работать, если его составляющие ломаются. Нет никаких небес, нет посмертной жизни для поломанных компьютеров. Вот лежит атеист. Одет хорошо, а пойти некуда.

Мы боимся одиночества.

Его слишком много в нашем тесном мире.

Человеческое искусство всеми мыслимыми способами пытается спасти нас от одиночества — книги, картины, театр, музыка, спорт. Наука всеми своими (немалыми, кстати) силами пытается объяснить наше одиночество, наше непрестанное желание сбиться в рой. Но только секунды (минуты) секса заставляют нас иногда почувствовать: мы — *одно целое*. Но эти секунды (минуты) проходят, и мы вновь возвращаемся в одиночество.

Путешествия, работа.

Любовь, карьера, дружба.

Можно перечислять возможности.

Но живем мы в одиночестве. Потому и близки мне северные народы.

Они изначально одиноки. Они эфемерны, как время. Они вечны, как время. Одиночество — их жизнь. Они кочуют не по тундре, они кочуют в своем собственном одиночестве. Как мы с вами кочуем в своем огромном Облаке — Облаке языков, поэзии, научных теорий.

Так что же задумывал Создатель? И если он все же действительно что-то задумывал, то почему его епитимья — наше одиночество — столь жестока? Наказание оно или благодать? Помню перенаселенный Бенарес. Прокаженных, которые уже давно одиноки. Клубящиеся толпы на берегу Ганга. Дым над гхатхами. Люди приходят

и уходят. Мириады людей, часто даже неназванных. И дым над ними, золотой дым великого одиночества, поднимается так высоко, что даже Создатель вынужден привставать на цыпочки, чтобы что-нибудь разглядеть.

Почему мы не можем сливаться воедино, как капли в озеро?

Почему всё вокруг — столь желаемо и столь недостижимо? Почему мы ничего не можем противопоставить своему одиночеству, кроме наших новых (вечных) технологий, наших новых (вечных) ценностей?

На Морском проспекте новосибирского Академгородка стоит стеклянная будка.

Обычный пункт обмена книг. Можно оставить ненужные, взять нужные. К сожалению, нынче чаще оставляют, чем берут. Возле будки часто сидит женщина. Сидит часами. Пожилая, но вовсе не старуха. Она не читает. Она не вяжет. Она не торгует овощами. Она просто смотрит на проходящих, а иногда спрашивает: «Сколько время?» Ей отвечают. Или не отвечают. Но ответ ей, в сущности, не нужен. Она спрашивает, наверное, только для того, чтобы понять: с нами она еще или нет?

«Сколько времени?»

Да много. Очень много времени.

Вот она и сидит у стеклянной книжной будки почти каждый день.

«Сколько время?» — других вопросов у нее нет. И, похоже, ей действительно не важны ответы.

Летел гусь над тундрой. Увидел — человек у озера сидит. Сел рядом на берегу, долго на человека смотрел, ничего в нем не понял и полетел дальше.

Никто, правда, и не пытался ему что-то растолковать.

Алексей Буров

Думаю, Геннадий Мартович, что в одиночестве сокрыт великий смысл; оно дарит возможность выхода к новому видению, состоянию ума. Новое рождается в ответ на сосредоточенность поиска, его фокусировку на главном и забвении обо всем остальном. Шансы на решение трудной задачи появляются тогда, когда ты погружаешься в нее безраздельно, засыпаешь и просыпаешься с нею, не отвлекаясь ни на что, кроме минимального сна. Никаких бесед, писем, книг или концертов — кроме тех, что диктует поиск решения. Полная одинокая самоотдача. И вот тогда появляется шанс, что тяжелая дверь сдвинется-таки с места, что войдет, наконец, долгожданная гостья, и не к кому-то, а именно к тебе.

Мышление в своем наиболее чистом выражении и есть такой сосредоточенный высоковольтный поиск; все иные его проявления есть уже ослабления и смеси с чужеродным. Чистое пламя мысли, рождающее новое, редко в этом мире. Но оно, может быть, только и ценно в конечном счете. Может быть, оно и есть то золото, ради которого все создано. И после всех подготовительных фаз это золото выплавляется в высоковольтной дуге одиночества.

Бывает, конечно, и это уже редкость в квадрате, когда два человека соединяются в подобном горении. И совсем уже исключительная, почти невозможная редкость, это группы, где такие вспышки идут или не прекращаясь, или с небольшими перерывами. Таким был, например, институт Нильса Бора в Копенгагене в конце двадцатых — начале тридцатых годов, где творилась квантовая физика. Но эти двойные и коллективные горения — суперисключения среди того, что и так уже чудо.

Может быть, у кого-то слово «чудо» вызовет недоумение или протест. Кто-то, возможно, возразит: зачем говорить о каких-то чудесах там, где мы сталкиваемся с достаточно распространенным качеством: способностью человека к творчеству? В защиту своего словоупотребления я могу лишь предложить дефиницию чуда как такого события, которое немислимо объяснить ни законом, ни случаем, ни волей субъекта. Прекрасное стихотворение, интересная теория, блистательное изобретение именно таковы. Их можно разве что *отобьяснить*, снять удивление перед рождением нового псевдо-объяснением. Нельзя принять за объяснение «Евгения Онегина» ни волю Пушкина, ни какие-то законы, обстоятельства или случай — хотя Пушкин и писал о случае, боге-изобретателе. Объяснять же «Евгения Онегина» гением Пушкина — объяснять одно чудо другим.

Говоря о творчестве, я не ограничиваю себя общечеловеческими открытиями. Эти чудеса случаются всякий раз, когда человек приходит к новому пониманию, озарению, и чаще всего речь может идти о понимании другого, пути к нему или к ней. С особенной остротой такая задача стоит перед влюбленным, стремящимся завоевать сердце возлюбленной. Иначе, но этот же вызов порождается и семейными конфликтами; недаром как одному, так и другому посвящены чуть не все сказки и романы, даже и слово «роман» на это указывает. В сказках покорение сердца недоступной принцессы всегда случается через некое волшебство, помощь волшебных сил. И в этом содержится глубокая правда: любовь может раскрывать в человеке способности творить чудеса, и нередко раскрывает. Ядро любовной драмы — одиночество, стремящееся преодолеть себя через рождение нового, поскольку иначе это преодоление невозможно.

Не будет ли справедливым сказать, что стремление преодолеть одиночество существенно присутствует в любом творческом акте? Думаю, что так. Даже и в самой глубине сосредоточенного одинокого поиска разве не пребывает с нами некий образ, кому найденное будет крайне важно, кто обрадуется вместе с нами?

*Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую:
Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе:
Сколько богов, и богинь, и героев! Вот Зевс Громовержец,
Вот исподлобья глядит, дуя в цевницу, сатир.
Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов.
Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — печаль...
Весело мне. Но меж тем в толпе молчаливых кумиров —
Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет;
В темной могиле почил художников друг и советник.
Как бы он обнял тебя! как бы гордился тобой!*

Нетрудно за маской ваятеля увидеть здесь самого Александра Сергеевича, тоскующего по ушедшему другу — как бы он обнял меня, как бы гордился он мной...

Итак, мышление в своей наиболее интенсивной фазе есть творческий акт, и он происходит в одиноком сосредоточении. И он довольно редок. Обычно (и как правило) люди если и мыслят, то не интенсивно, а без напряжения, как бы в полусне. Это даже к творческим людям применимо, у которых трудные фазы интенсивного мышления в среднем коротки, сменяясь длинными фазами сна и полусна. Это не очень интенсивное, не слишком возбужденное мышление обычно нацелено на решение каких-то регулярных житейских задач, где важно лишь ничего не забыть и не перепутать. Как назвать мышление, ограниченное обслуживанием регулярных потребностей кругов жизни? Полагаю, это именно то, что называется здравым смыслом, *bon sens* (фр.), *common sense* (англ.), *buon senso* (ит.), *sentido común* (исп.). Названия подчеркивают повседневную здравость, адекватность или общность, общепринятость, нормальность мышления. Нормальный человек есть носитель *common sense*, здравого смысла, на недостаток которого у себя никто не жалуется, по тонкому замечанию Декарта. На какие только свои слабости и недостатки люди ни

жалуются: здоровья, памяти, талантов, характера даже, но никак не здравомыслия. Здравый смысл есть наиважнейший атрибут человеческой жизни. За его исключительной ценностью скрывается сверхценность человечества, к которому субъект принадлежит лишь в силу своего здравого смысла, всех же прочих качеств может у субъекта и очень недоставать. Правильный ход жизни по вечному кругу, от века положенному богами, великими предками, матерью-природой — вот идеал здравого смысла, подчиняющего мышление жизни. Очень привлекательный идеал, надо сказать. Сакрализуя «вечные» круги жизни, он снимает беспокойство человека о смысле, примиряя с неизбежностью тягот и страданий, радуя священным ритмом соединений людей в семьях и в общинах, благородной ритуальностью буден и праздников, снимая проблему одиночества, смягчая его бремя даже у одиноких охотников. Об этом идеале, силе его архетипов, писал выдающийся румыно-американский религиовед Мирча Элиаде в «Мифе о Вечном Возвращении» (1949). Ведь действительно, как это прекрасно звучит: жить, работать и праздновать, как деды и прадеды, ходить теми же освященными путями, что они, и уйти в иной мир вслед за ними, тем же ритуалом, под те же святые песни, чтобы их там встретить. Почувствовав это, начинаешь изумляться, что круговой идеал не господствует везде и всегда, что есть сила, разрушающая чары этого сладкого сна. Неудивительно, что «...архаическое человечество защищалось, как могло, от всего нового и необратимого, что есть в истории», по словам Элиаде, но эта защита была медленно теснима.

Сверхмощная сила, медленно побеждавшая всеобщую тягу к вечному возвращению, побеждавшая *страх истории*, есть творческая способность человека. И что удивительно, при всей малости своего присутствия, при постоянных локальных поражениях, в долгом времени эта сила побеждает всеобщую тягу к циклическому сну жизни, каковое преодоление и составляет, собственно, становление человечества, его подлинную историю. Это медленное победное движение мысли, освобождение её из-под рабства всеильной жизни, есть исторический аспект чудесной природы творческого мышления, призванного быть господином жизни, а не слугой.

Хорошо, может быть, скажете тут вы, Геннадий Мартович, — творческие люди реализуют в одиночестве свои дары, и тем их одиночество возвеличено; прекрасно. А как же быть тем, кому творческий дар отпущен не столь щедро, или тем, которые не нашли его в себе? Любовь пролетела или не долетела, их одиночество пусто, скучно, бессмысленно, и эта серость заполняет изрядную часть их жизни. Что же — они лишь случайно забрели на представление, где нет для них места не только на сцене, но и в зале? Зачем же этих несчастных вообще тогда вызвали из небытия? Как быть человеку, если он чувствует себя никому не нужным, если ему *некуда пойти*, по выражению одного из героев Достоевского? В такой ситуации человек, если не накладывает на себя руки, то или деградирует в пьянстве и наркомании, или становится преступником, заставляя-таки обратить на себя внимание, или ищет войны с ее смесью насилия и братства, или сливается в массу объединенных ненавистью к врагам отечества и любовью к фюреру, со всем отсюда вытекающим. Одиночество и бессмысленность жизни порождают силу смерти, губительную угрозу личности, народу, человечеству. Как быть этим несчастным?

Прежде всего, не думаю, что Бог их обделил; Всемиловитый каждому дает возможность осмысленной, благой жизни. Но это благо может быть реализовано лишь через свободу человека, а не автоматически. Свобода предполагает незнание; незнание влечет заблуждения, а заблуждения порождают бессмысленные страдания. С другой стороны, даже совсем больные люди показывают иногда великую силу духа, как вы напомнили об этом образом недавно ушедшего Хокинга. Держа это в уме, мне трудно представить ситуацию, чтобы человек уже никак не мог реализовать свое одиночество: принять сироту на воспитание, взяться изучать ремесло, искусство, науку, войти в благотворительную группу или создать ее, стать прихожанином той церковной общины,

что наиболее по сердцу, молиться и действовать внутри нее, с Божьей помощью и к вящей Славе Господней. Как вообще человек может знать, сколько и каких талантов ему дал Небесный Отец? Как он может решить, что их недодали, не приложив прежде достаточных усилий? Ну, а пренебрежение отпущенными талантами, как мы недавно вспоминали, есть один из тяжких грехов. Грехи оборачиваются мучениями, в том числе и скукой одиночества, а чем же еще им оборачиваться?

В 1932 году семидесятитрехлетний французский философ Анри Бергсон издал свою последнюю книгу, «Два Источника Морали и Религии». Эти два источника Бергсона есть стремление к сохранению и творчеству.

Первый ориентирован на защиту, консервацию, а стало быть и сакрализацию установленных форм жизни; таково охранительное статическое начало религии и морали. Статический источник есть «защитная реакция природы против того, что может быть угнетающим для индивида и разлагающим для общества в деятельности ума», пишет Бергсон, понимая под этими опасными возможностями ума эгоизм, цинизм, скептицизм. Обуздание ума достигается утверждением незыблемой святости архетипа жизни, тотального примата коллективного над индивидуальным, строгостью запретов и табу. Именно о религиозном начале такого типа Элиаде говорит как о религии вечного возвращения, всеми силами противящейся истории. Человек здесь подчинен «субботе», если воспользоваться евангельским словом.

Второй источник ставит во главу угла не сохранение достигнутого, но движение вперед, реализацию великих возможностей, принятие истории и рождение нового. На этот источник указывает уже самое начало книги Бытия, утверждающее подобие человека Творцу всего сущего, именно второму, динамическому, источнику обязана максима «суббота для человека», притча о талантах, заповедь «Будьте совершенны как совершен Отец ваш небесный», молитва «Отче наш» и многочисленные указания на недостаточность и амбивалентность «закона», на его превосхождение таинственной благодатью. В главном конфликте евангелий, Иисуса и первосвященников можно разглядеть столкновение двух источников морали и религии. Переход от первого источника ко второму есть взросление человечества, переход от смысла жизни как послушания Всевышнему к видению этого смысла в сыновнем соучастии в продолжающемся сотворении мира.

И все же, при этой полярности статического и динамического источников религии в самой глубине они восходят к одному, что я назвал бы восхищением и благодарным трепетом за всё, что мы, люди, получили от Создателя, за каждую звезду и лепесток цветка, за мою жизнь, за все дары, что мне отпущены, и задачи, передо мной раскрывающиеся. Чувство благодарности требует отклика. Охваченный им человек откликается Небесному Отцу, и вот он уже не одинок, и фантастически-чудесный мир раскрывается перед его глазами из запредельности его Отца.